
Л.Я. Шнейберг, И.В. Кондаков

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез...»

В апреле 1930 года, не без помощи Бухарина, Мандельштамы уезжают на Кавказ. Возможность совершить большое путешествие по Закавказью, в частности побывать в Армении, возвращает Мандельштама к стихам и созданию книги путевых очерков. Однако экзотика Армении не спасает от грозных событий. Вспомним строки из статьи «Гуманизм и современность»: «...мы движемся... со страхом и недоумением...»

К 1930 году недоумение кончилось, неизвестности больше не было. В 20-е годы поэт еще надеялся, что «жестоковыйный» XX век каким-то образом удастся гуманизировать. Коллективизация, начавшиеся партийные «чистки», самоубийство Маяковского, о котором Мандельштам узнал на Кавказе, — обнажили истинное лицо «века-волкодава». «Если подлинно гуманистическое оправдание не ляжет в основу грядущей социальной архитектуры, она раздавит человека...»

Большинство стихотворений 1930 года проникнуты чувством неясной тревоги, безысходности, непреодолимого страха.

Итог сказочного путешествия более чем пессимистичен. Контраст между внешними впечатлениями и внутренними переживаниями слишком резок: «Были мы люди, а стали людье». Мир отныне разделен на тех, кто сбился в людское стадо («людье»), и тех, кто этим стадом погоняет «И по-людски куролесит зверье» («И по-звериному воет людье...», 1930). Наступила новая эпоха — тоталитаризма.

В ноябре Мандельштамы возвращаются в Москву. В декабре–январе Мандельштам оказывается в Ленинграде, где начиналась его поэтическая жизнь. Зима 1931 года была зловещей: Мандельштам вернулся в город, из которого в результате нескольких «процессов» против интеллигенции (конца 20-х годов) исчезли многие из тех, кого он знал. Город казался пустым, мертвым:

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, — так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей!

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок.

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Сравним «Я вернулся в мой город...» со стихотворением «На страшной высоте блуждающий огонь...» (1918). Плач по умирающему Петрополю прозвучал как погребальная месса. Образ надвигающейся истории, масштабность происходящего, сложная метафоричность создают ощущение трагического и вместе с тем торжественного.

Стихотворение «Я вернулся в мой город...» — не плач и не торжественная месса. Стихотворение пронизано ощущением страха и отчаяния. В этом ночном кошмаре ожидания «гостей дорогих» из ГПУ дверная цепочка превращается в наручники — символ тюрем-

ного заключения. Цветовой фон стихотворения — сочетание черного и желтого — знак безнадежности. Черно-желтым кажется «декабрьский денек», который должен вызывать совершенно иные ассоциации: белизны, солнечного света, а не приступа, похожего на самоубийство.

«Петербург! Я еще не хочу умирать...» — это обращение перекликается с пушкинским «Но не хочу, о други, умирать», однако перекликается лишь внешне. Тональность обоих стихотворений разная. Герой пушкинской «Элегии» полон оптимизма; он не верит, что его жизнь может быть прервана до срока. Более того, он надеется на то, что «любовь улыбкою прощальной» озарит его закат «печальный».

Мандельштамовское «еще не хочу умирать» придает стихотворению смысл безысходности. Смерть рядом, может быть, за дверью, причем смерть насильственная, незаконная... Петербург призван в свидетели этой надвигающейся, планомерной, неумолимой смерти поэта.